

Игорь Шестков "В больнице"

Заболел у меня живот. И раньше бывало, конечно. Пережор. Перепой. Или несвежая сайра.

Как-то не так заболел. Как будто железный шкаф проглотил. И давит шкаф изнутри твердыми углами. Там где давит – горячо. Не шкаф, а печка.

Обидно болеть в субботу. Свободный день на такую дрянь тратить. Лето.

Подружки ждут. Листики на московских деревьях еще не побурели, а у тебя шкаф в животе. И предчувствие неприятное. На сей раз не отделаешься. Глубоко копнуло. Страшно? В восемнадцать лет все страшно. Потому что тело гудит как орган и все его клеточки кричат тебе – живи, танцуй, радуйся! Так хорошо, как сейчас, никогда больше не будет.

Позвонил отцу на работу. Секретарша долго не соединяла. Занятость демонстрировала.

«Пап, у меня живот болит. Сил нет. Не знаю, что делать...»

«Матери звонил?»

«Нет».

«Правильно, зачем ее тревожить. До районной поликлиники дойдешь?»

«Нет, не дойду, как встану – сгибает. Скорую вызывать?»

«Погоди со скорой. Я тебе сейчас Игоря пришлю. Выходи минут через пять.

Отвезет тебя в нашу ведомственную. К Луизе Исааковне иди, кабинет 118, она посмотрит тебя, направит куда надо... Я пошел, у меня редакционное совещание начинается».

Шкаф еще горячее стал. Ох, ненавижу я врачей. Ладно. Может и помогут. Люди в белых халатах... Чтобы их так скрючило! Боже, как больно. А если лифт застрянет? Восьмой этаж. Тогда мне хана.

Вышел, согнувшись, из подъезда. Игорь уже ждал. Заднее сиденье у казенной «Волги» широкое. Можно прилечь. Какие у шоферов шеи толстые. Бычьи. Бык. Даже морду не повернул. На мое «здрассте» не ответил.

В поликлинике все у меня перед глазами взад-вперед поехало. Поскользнулся, но не упал. Сел на стул. Какая-то тетка в белом халате подошла, спросила: «Вам

куда? Вы кто? Это стул только для персонала, на нем сидеть воспрещается. Вы к кому пришли?»

«Я никто, человек просто... Я к Луизе... пришел. Отчество библейское. Забыл... Я, видите ли, шкаф проглотил... жжет собака! Во, вспомнил... К Исааковне. Был, знаете ли, у Авраама сынишка, его родной папаша заколоть хотел... Всесожжение устроить... А Бог ему бараньчика подсунул, да... Под нож».

Тут подошла еще одна тетка в белом халате. Я расслышал: «Бредит он что ли? Может выпивший? Не похоже... Одет чисто. Что с ним Луиза Исааковна делать будет? Или какой шишки сынок... Нанюхался чего-нибудь... Ты проверь у него вены...»

Через несколько минут я сидел в кабинете Луизы Исааковны. Воняло нашатырным спиртом. У меня брали кровь. Проколота маленькой пикой подушечка безымянного пальца нестерпимо зудела. Из нее сосредоточено высасывала кровь медсестра. Потом выплевывала ее из стеклянной трубочки в пробирку...

Пришел хирург. Большой, умный дядя с усами. Он сказал – похоже, гнойный аппендицит у парня, на стол его надо, пока перитонит не начался. А потом с Луизой шептался.

«Не наш пациент... В Кремлевку ведь так просто не пошлешь. Я не знаю, как в таких случаях поступают... Что, дикость? У нас все дикость. Я на себя ответственность не возьму... Вызывай скорую из Градской... Пусть забирают...»

Затем, помню, Луиза меня допрашивала: «Антон, тебе восемнадцать исполнилось? Ты где прописан? Ты студент? У тебя паспорт с собой?»

Я не понимал, что она имеет в виду. Меня жег шкаф. Я корчился, сгибался... «Восемнадцать чего? Прописан, переписан, записан... Не выскочу. Паспорт? Это что, такая книжечка с фотографией? Или это маленький шкафчик, в котором человечек заперт? Сидит там и воет. У него животик болит... Нету с собой паспорта... Только я сам... Студент. Сам с собой. Вызовите доктора...»

Потом у меня провалилось все перед глазами. Боль от иголки, беспокойно, как птичка, ищущей вену на сгибе руки, я не почувствовал.

Ленинский проспект. Сирена – сумасшедшая улитка в ухо орет... Кого это везут? Ха-ха-ха! Меня! Странно, боли вроде и нет больше. А шкаф? А шкаф теперь я

сам. Нет у меня ни ног, ни рук... Зато есть полки и углы... Откройте меня, потушите пожар!

Из приемного покоя сразу в операционную отправили. Брили прямо на столе. Медбрат брил. Спокойно, ловко. Приговаривал: «Бреем, бреем трубочиста, чисто, чисто, чисто...»

Я пытался его поправить: «Моем, моем...»

А медбрат превратился почему-то в огромную звезду. Она вспыхнула прямо перед глазами, залила все светом и теплом... А на мой живот кто-то выплеснул ведро горячей воды. Женщина в белой маске сказала: «Потерпи, Антоша, надо кишку вытянуть... Можешь покричать...»

И стала она из меня шкаф вынимать. А он выходить не хотел. Тянула-тянула. А потом маска показала мне длинного белого скрюченного червяка.

«Вот он, весь в гнойных бляшках... Полюбуйся. Вовремя тебя привезли. Через часок лопнул бы отросток. Теперь надо брюшную полость обследовать. Не долго осталось...»

Когда меняшили, я слышал хруст... Больно было жутко. Я не кричал, потому что в горле не было воздуха и звуки куда-то делись все. Все, кроме хруста.

Привезли меня в палату. Там был шторм. Железные кровати вздымались как волны – вверх, вниз. Затем пришел добрый медбрат. Он уколол меня в бедро, я заснул. Спал без сновидений. Проснулся вечером. Шкафа в животе не было. Но на его месте поселился оркестр. И играл, играл... А-а-а!

«Это у тебя заморозка отходит, – сказал сосед по палате, длинный, черноволосый, с челкой, лет тридцати. – На ночь еще уколеч всадыт, оклемаешься! Давай пять! Меня зовут Сергей. Ну, Серый. А ты, значит, Антошка. Играешь на гармошке. С язвой я. Две недели уже тут. Процедуры. Прободения боятся врачи. Тут у нас компания теплая – ты, да я, да Пахомыч. У него грыжа... Ущемленная. Три дня назад оперировали. Послезавтра на выписку. Тоже выл, когда отходило. А теперь как новый. Пахомыч, ты бы на бабу лег? Ты только честно скажи! Куда-куда? Ишь, завернул манду в газету. Вот то-то. Три койки еще пустые. К ночи придут... Свято место пусто не бывает. Сегодня Вера Павловна дежурит. Железная женщина. Ты тоже через ее руки прошел. Да ты не кряхти, постомай немного... Тут все свои...»

«А как медбрата вызвать?»

«Ванятку-то? Позвать что ли? Я схожу».

Медбрат прибыл минут через двадцать. Студент пятого курса Второго меда на практике. Ванятка хоть и выглядел еще как пацан, но уже смотрел на пациентов укоризненно. Точь в точь как его любимый профессор, старый хирург Углов. Ванятка меня успокаивал: «Потерпи еще пару часов, для шва лучше будет, если мы тебя сейчас не будем химией накачивать».

После его ухода Серый пояснил: «Ты, Антошка, Ванятку не слушай. Он сейчас твой морфий самому себе в жопу вколет. Все они тут на игле. Погоди, может Вера зайдет, ей скажешь, что невтерпеж...»

А я его уже не слушал. Оркестр разыгрался вовсю. Выть было стыдно, хотя и очень хотелось. Свернул край простыни в трубочку, зажал зубами. Отвернулся в стену и плакал потихоньку.

Приходил с кратким визитом отец. Обнял, поцеловал. Отвел в сторону медбрата, дал ему червонец. В полутемной бельевой комнатке нашел нянечку Ильиничну и одарил ее двумя пачками «Золотого ярлыка». Она была так ошарашена вторжением в ее мир роскошного мужчины начальственного типа, что даже не успела отдернуть от рта горлышко бутылки крепленого, которую распивала в тишине и покое... Поговорил отец и с Верой Павловной, которая не без гордости приняла от него модные тогда маленькие золотые сережки-сердечки и сообщила: «У вашего сына все в порядке. Чистая брюшина. Через пять дней выпишем. А о Кремлевке не жалейте. Уход и еда у них там, конечно, лучше нашего. А врачи все блатные. Оперируют раз в три года. Сколько человек сгубили. А тут – целый день в операционной, руки сами режут... Возьмем Антошу под особый контроль. Клюквы протертой ему завтра принесите».

После ухода отца обескураженный Ванятка все-таки сделал мне укол, пробормотав: «Ну, отец у тебя крутой, Антон! Веру завел, прибежала взмыленная, как рысь. Шприц, говорит, покипяти хорошенько. И вкати ему, чтоб заснул. Это сын такого человека... За нами дело не постоит... Мы вкатим... Нам деньги редко в руки попадают. Живем на стипендию...»

Обитатели больницы встают рано. В шесть утра разбудил меня Серый и сразу затароторил в ухо, как будто шариками из подшипника закидал: «Слушай,

Антошка, ночью старичка привезли. Я историю болезни видел – онкологический он, безнадежный. Типенко фамилия. Семьдесят четыре года дедушке. Ровесник века! Стонет все время. Обосрался, а выносить некому. Ильинична бухая в бельевой гоношится, Ванятка дрыхнет... И еще двоих вселили. Капитана брюхатого, слепенького и Филиппыча с железным горлом. Доходягу-алконавта. Капитана ночью резали. Осложненный аппендикс. Располосовала ему Вера брюхо, потому что через весь живот лежал. Три часа его мучили. Под местным делали. Еще не очнулся. Слышь, храпит как конь. А Филиппыча завтра на стол положат. Представляешь, у него ночью кровотечение началось, он еле живой, а под мухой. Готовься, скоро обход будет. Вера обходит, прежде чем смену сдать».

Проговорив все это, Серый мгновенно перешел к Пахомычу, который недовольно и тупо смотрел на новоприбывших и пристроился к его большому мохнатому уху.

После обхода подошел ко мне Филиппыч. Маленький, худой как скелет. Лицо и руки у него были морковные. Глаза – цвета пачки Беломора. Заговорил шипящим шепотом: «Ты чего тут делаешь, паря?»

«Аппендицит у меня вырезали... Лежу... А у тебя, что, правда в глотке трубка? Расскажи».

«История, паря, такая. Все это, ну... Пятидесятилетие Октября справляли. Добавить хотелось, хоть в петлю лезь. А не было. Шарил, шарил. Нашел бутылочку в кухонном шкафу. Думал, жена запрятала. Не разобрал, что это эссенция. Ну вот, паря, налил я, того-этого, в стакан. И залпом. Сразу понял, что беда. Обожгло нутро. Огнем прошило. Ну я, чего терять-то, и второй стакан долбанул. Поставили мне искусственный пищевод. А он вот... Отторгается. Ночью кровь прорвало, думал захлебнусь и помру. Сюда привезли. Откачали. Резать будут. Мне не в первой. Давай со мной на посошок?» И достал из больничного халата четвертинку.

Как я узнал позже, уже первый стакан должен был его убить, уксусная эссенция выела пищевод. Второй стакан был самоубийством в квадрате. Но Филиппыч выжил. И жил уже семь лет с трубкой в горле. И пил.

Вера Павловна говорила мне – в туалет сегодня сам иди, не торопись, не тужся.

Иди! Сначала сесть надо. Сел. Боялся, что шов раскроется как рыба пасть, и из него внутренности выпадут. Медленно поднялся и пошел в туалет, поддерживая живот. Вот, оказывается, что самое трудное в жизни. Пописать. Нечеловеческие усилия. Три капельки упало. А как насчет того, чтобы на потертое больничное сиденье сесть? Слабо?

Притащился как-то назад, лег. Боль не прошла и оркестр играл. Но не так громко, как раньше. Хуже боли было то, что время перестало идти. Лежишь, лежишь, всю жизнь вспомнишь, всех любимых перецелуешь-переобнимаешь, а время – как было полдесятого, так и осталось... Если бы не сон, затянулся бы день на вечность.

Приходила мать, заглянули пара приятелей и подружка. Потом мне ставили банки, заставляли вставать, есть – все это прошло в тумане как дурной фильм. Голова слегка прояснилась только к вечеру. И боль чуток отпустила. Оркестр затих. Глаза сфокусировались, как объективы.

На улице щебетали птицы. Под потолком, у белого светящегося шара, кружились мухи. Жизнь продолжалась.

А в нашей палате было тихо, все замерло, словно на фотографии. Капитан спал. Пахомыч гладил себя обеими руками по животу, кряхтел. Несчастный раковый дедушка тихо постанывал. Серый с интересом читал газету «Труд». Он был похож на сову в черном парике с челкой. Филиппыч – стальное горло, лежал на своей кровати и смотрел на облупленный больничный потолок, шевелил морковными губами, моргал.

Дедушка Типенко вдруг дернулся, как будто его молния ударила, затрясся и громко застонал. Схватился за сердце. Капитан зашевелился, попытался лечь на бок, зарычал от боли... Серый отложил «Труд» в сторону, бодро соскочил с кровати и, радуясь тому, что может кому-то что-то сообщить, побежал звать Ванятку. Пахомыч пробурчал: «Ну, будут теперь охи да ахи! Вот, бля, жизнь пошла. Деда в морг надо, а не сюда. А капитана привязать, а то брюхо раскроется. Вот, медицина Страны Советов. Вот она, забота о народе...»

Типенко стонал все громче. Неожиданно я понял, что он не стонет, а просит. Умоляет кого-то.

«Сердешная, сердешная, отпусти меня, отпусти... Предо мной смерть стоит.
Косой сердце режет... Косой. Сердце. Режет... Сердешная.. Сердешная...
Отпусти, Броня, дай помереть спокойно...»

Речь его прервалась. Мне показалось, что та часть палатного пространства, где лежал Типенко, опустела.

В комнату вбежали медбрат и Серый. Ванятка деловито взял костлявую руку старичка, пощупал пульс, вздохнул, затем закрыл тело одеялом, снял койку, стоящую на колесиках, с тормозов, посмотрел укоризненно на нас, и увез Типенко из палаты. А через некоторое время привез пустую койку назад. На ней лежало свежее серое белье и старое одеяло.

Филиппыч икнул, тяжело закашлялся и прошипел: «Царство небесное, вечный покой... В приемном покое вместе ночью были. Говорил. Студенька просил принести. С хреном. Того-этого. Надо покурить пойти. Тяжело, когда человек в сырую землю идет...»

Серый проговорил философски: «Вот так и кончается все... Зачем живем? Как скот. А потом смерть с косой. И койка обосранная. В говне умер дедушка. Ему еще повезло. Я тут такое видал за две недели. В соседней палате один от пролежней умирал. Толстый такой. Ревел, ревел, а потом пёрнул как слон и помер».

Пахомыч пробурчал в сердцах: «Медицина это? Страна советская, все для людёв? Я вас спрашиваю, все для людёв? Так-то...»

В ту ночь мне наша палата приснилась. Все спят. А Типенко как будто все еще на своей кровати лежит. Я смотрю во тьму и вижу – встает Типенко на воздух и летит ко мне. Садится у меня в ногах. Достает откуда-то тарелку со студнем и начинает его руками есть. Мне гадко, но я молчу... Доел Типенко студень, пальцы вытер вафельным полотенцем, повернулся ко мне и заговорил страшным загробным голосом, сверкая во тьме перламутровыми бельмами: «Студенек знатный. Холодненький и с хренком. И смальца на ём как песочек лежит. Без хрящей, только дольки мясные собрала Матрена Ивановна. Ножки свиные были как у младенцев пяточки... Ты, сопляк, а я Блокаду пережил, не помер.

Ленинградский я, понимаешь. Думаешь, там все как в книжках написано было?

Героизм защитников? Хрен им в рыло. Людей мы ели. Студень из трупов варили. Понятно? Иначе никто бы не выжил. Все, кроме холуёв сталинских, эти в три морды жрали. Была у нас соседка, Броня. Безработная. И без пайки. У меня с ней до войны было... Когда жена на службе... Крутили. Туда-сюда. Умерла Броня в феврале сорок второго. Ну так мы дверь к ней и взломавать не стали. У меня ключ был. Перетащили мебель к нам. Порубили на топку. И труп забрали... Я топором её расхрякал. На буржуйке варили. В кастрюле. Несколько кусков мяса я на рынке на соль и хлеб обменял. Говорил – конина. Потом все забыли. Из головы вон. Жить хотели. А вот как заболел, стала ко мне Броня приходить. Ты, Егорыч, говорит, меня ел, теперь и мне твоего мяса поесть охота... Выела она меня всего. Вот я и помер. Смотри, вон она! Стоит, руки растопырила, сука... Убирайся! Сгинь... Помер я, помер... Чего тебе еще надо?»

На следующий день выписали Пахомыча. На прощанье медсестра сделала ему укол анальгина. Чтобы дорогу домой лучше перенес. Филиппыча прооперировали и положили в реанимацию. А капитан, наконец, очнулся. Ходил с моей помощью в туалет. После обеда разговорился. Оказалось, он не капитан, а пилот.

«Пилот, пилот я бывший. Гражданской авиации. Вторым пилотом был. На тушке. Потерпели мы аварию под Саратовом. Нашего командира сразу убило. А я до конца штурвал держал. Мне глаза огнем выжгло. С тех пор я слепой крот. Пенсию платят. Чтобы с голоду не подох. Слышь, ребят, а у вас тут бабы нет какой? Мне бы любая подошла. По серьезному то я с распоротым брюхом не смогу. А в рот... Сколько лет мечтаю».

Я смутился, а Серый серьезно задумался, челку поправил и произнес:

«Медсестры тут гордые. К ним не подкатишься. А вот нянечка, Ильинична, та бы согласилась. И место есть – бельевая. Если ты ей рублик в халат сунешь...»

«Суну, суну... А какая она из себя? Полненькая?»

«Она красавица, ноги как папиросы, а морда кирпича просит», – пропел Серый и полетел к Ильиничне, дело улаживать. Я остался в палате один с слепым пилотом. Тому хотелось с кем-нибудь поговорить.

«Ты, как тебя кличут, Антон, что ли. Ты тут?»

«Я здесь, я еще часть пространства».

«Ты не мудри, парень... А что, эта Ильинична... Очень страшна?»

«Как зад престарелого самурая!»

«В возрасте она?»

«Ленина видела еще молодым».

«Грязная?»

«В меру...»

«Я баб пять лет не трогал. Меня жена, как ослеп, сразу бросила. Стюардесса была. Милашка. На заграничные линии ее пригласили... Зачем я ей? Мать меня приютила. Старушка. Потом померла мамочка. Живу один. Тут недалеко, у Калужской заставы. Вначале тяжело было, по небу тосковал, потом освоился. Пью с ребятами пиво у киоска. Они меня домой провожают, даже продуктами делятся... А моя бывшая опять за летчиком замужем. На Кубу летает... Милка так меня любила, где-то триппер подцепила...»

Тут в палату вбежал Серый. Его распирала известия.

«У меня две новости. Хорошая и плохая. Вначале плохая. Представляете, наш Пахомыч умер. Дома. Не от грыжи. От анальгина. У него аллергия была на анальгин. Вера знала, Ванятка знал, а новая сестра не знала. Как лучше хотела. А вышло вон как. Задохнулся. Побежал деда Типенко догонять. Будет на ангелов ворчать, старый пердун. А теперь хорошая новость. Ильинична согласна в рот взять! Завтра, в бельевой. Обещала зубы почистить».